



Иван Алексеевич Бунин

Мелитон

Содержание

#1	0005
Комментарии	0016

Иван Алексеевич Бунин
МЕЛИТОН

Были светлые майские сумерки, я ехал вер-
хом по нашему Заказу. Лошадь шла узкой
дорогой среди свежей поросли осин и ореш-
ника. Кругом все было молодо, зелено, соло-
вьи нежно и отчетливо выщелкивали по сто-
ронам, перекликались друг с другом. Уже дав-
но село солнце, но лес не успел еще стихнуть:
горлинки журчали где-то вблизи, кукушка ку-
ковала в отдаленье... В майские ночи сон слаб
и недолог, до рассвета брезжит, заря зарю
встречает.

Я выехал к поляне, где стояла караулка. В
лощине за поляной лежал большой, полно-
водный пруд. Над прудом, над столетними бе-
резами и дубами, окружавшими его, слабо
означался бледный и прозрачный круг меся-
ца. А возле пруда на пне сидел Мелитон и ки-
дал сухие прутья в жаркий и проворный ко-
стерчик, разведенный в земляной печурке
под котелком, висевшим в ней. Как всегда,
очень чисты были его заплатанные портки и
рубаша, ладно подвязаны онучи. Он сидел, по-
ставив на колени локти, положив лицо в ла-
дони, смотрел на огонь, а сам напевал что-то
тихим и тонким, совсем женским голосом.

— Ай карасиков наловил, Мелитон? — спросил я, соскакивая с лошади.

Он поднялся, вытянулся во весь рост, с той особой выправкой, что присуща была когда-то только николаевским служакам, и тотчас принял бесстрастное выражение, как бы стараясь скрыть постоянную печаль своих бледно-бирюзовых глаз. Росту он был высокого, телом худ и костляв. Серые густые брови и такие же усы, на щеках сходящиеся со щетинистыми баками, придавали ему вид суровый, но лысина, эти бирюзовые глаза и чистая крестьянская рубаша, свидетельствующая о готовности лечь «под святые» когда угодно, говорили о кроткой, отшельнической жизни.

Когда картошки в чугуничке стали сипеть и бурлить, он потыкал в них щепочкой и снял чугуничек с огня. Огонь стал потухать, — только красная грудка жара светилась в землянке. Возле нее пахло сторевшей дубовой листвой, а когда старик стал чистить картошки, запахло так вкусно, что я попросил и себе парочку. И мы молча стали ужинать возле неподвижного стемневшего пруда, в тишине

и сумраке все еще не гаснувшей весенней заре. Закат за деревьями вправо алел нежно и тонко, и казалось, что там уже рассветает.

— Мелитон, — спросил я с юношеской простодушностью, — правда, тебя сквозь строй прогоняли?

— Правда-с, — ответил он просто и кратко.

— А за что?

— А, конечно, за глупость, за провинности...

Он ушел в избу, а я долго сидел один, глядя на тлеющие угли. Появился он из сумрака неслышно и принес с собой еще один ломоть ржаного хлеба, ножик, сделанный из старой косы, и горсть крупной соли. Ласково и нервно виляя хвостом, прибежал за ним Крутик, маленький, веселый, но отчаянно злой, несмотря на свою веселость. Он тоже сел возле печки, с удовольствием зевнул, облизнулся и стал следить глазами за каждым движением Мелитона, круто солившего хлеб. Соловьи по-прежнему пели страстно и звонко, нежно и удачно.

— Ведь ты совсем одинокий? — спросил я.

— Совсем-с. Была жена, да уж так давно,

что и не вспомнишь.

— А дети?

— Были и дети-с, да их тоже бог прибрал в свое время...

И он опять замолчал, со старческой неспешностью пережевывая хлеб. Я вглядывался в движения его морщинистых щек, в его опущенные веки, стараясь проникнуть в тайну его печальной молчаливости. Он кротко и беспомощно взглянул на меня, — я отвернулся. Было мне тогда двадцать лет, все умиляло меня: лес, небо, караулка, пучки каких-то трав и венчиков в ее сенцах под крышей, между сухой листвой решетника... На ногах Мелитона лыковые лапти, думал я, на теле замашная рубаха [1]... Как это чудесно — жить такой чистой, простой, бедной жизнью! И эти венчики — для кого он собирает, вяжет их? Венчики еще более тронули меня, и я сказал, подымаясь:

— Совсем у тебя скит, Мелитон!

Он ласково и грустно улыбнулся.

— В скиту часовенки бывают-с, — сказал он, бросая корку Крутику, и залил водой из чугунчика угли.

Они зашипели и померкли. И тотчас же стало видно, что в лесу уже светлая, лунная ночь, что поляна освещена сияющим месяцем, что чащи леса почернели и отделились от нее. Крутик, как только поужинал коркой, тотчас же принялся за свое ночное дело. Он с звонким лаем хлопотал то там, то здесь за караулкой, и было похоже, будто весь лес полон злыми и неугомонными собачонками. Мелитон зажег в избе лампу, настилая мне на конике сена, — окошечки под ее старой нахлобученной крышей засияли, как два золотые глаза. Потом он вынес лампочку в сенцы. Я вошел туда, и он опять улыбнулся мне.

— А то вот-с на коечку ложитесь, — сказал он, кивая на свою кровать.

В углу возле входа было устроено нечто вроде койки на высоких ножках из березовых поленьев. На ней было тоже настлано сено, прикрытое попоной и возвышавшееся к изголовью.

— Да какой теперь сон, — сказал я, — скоро уж и светать станет.

— Скоро-с, — согласился Мелитон бесстрастно.

И правда, мы только подремали. В темной избе было тихо, приятно, в окошечки виднелись зеленоватые кусочки лунной ночи. Но что-то не давало мне спать: достаточно было тонкого напева комара, чтобы очнуться. Я слушал Крутика, соловьев, думал о чем-то, чего не вспомнишь, как всегда в бессонную ночь... Не спал и Мелитон. Его донимали блохи.

— Ну, уж погоди, погоди, отучу я тебя спать под койкой! — бормотал он изредка, разумея Крутика.

Потом он кашлял, вздыхал, шептал что-то... Наконец я услышал его шаги под окнами. Я высунулся из окна на прохладу ночного воздуха. Мелитон меня не замечал. Он сидел на пороге, опустив голову, не спеша растирал на ладони листовой табак и опять напевал грустным женским голосом.

— Ах, господи-батюшка! — прошептал он с глубоким вздохом, покачивая головой и высекая огонь. И, закурив трубку, оперся на руку и запел внятней, задушевней.

Слышно было, что рассказывал он в песне про какие-то зеленые сады, с добрым укором

напоминал кому-то те места, где «скончалась-распрощалась, ах, да прежняя любовь...». Ночь сияла. Месяц выбрался на самую середину неба, стал над самым прудом. Изредка по воде что-то струисто поблескивало, точно там вился серебристый уж. У противоположного берега воды как будто не было. Там была светлая бездна в другое, подземное небо. Вековые дубы и березы на том берегу казались теперь выше, стройнее, чем днем. Но еще лучше был тот лес, который, вверх корнями, темнел под берегом, уходя в эту бездну вершинами. А вдали, за лесом, небо уж стало стеклянно-зеленое, там, в полях, начали свежо и отчетливо бить перепела... Я закрыл глаза. Когда же очнулся, был уже день. Пруд весь дымился, поляна поседела от крупной росы, лес, похолодевший, свежий, как будто еще недвижней стоял вокруг пруда. А потом в окна потянуло влажным ветром, в пруде заквакали лягушки, и петух, сильно и выпукло захлопав крыльями, заорал в сенцах хриплым басом. Мелитон, согнувшись, шел к избе от пруда с полным, тяжелым ведром, из которого плескалась вода, и оставлял за собой длинный яр-

ко-зеленый след по седой траве...

В последний раз навел я Мелитона как-то прошлой зимой. Помню, день был хмурый, туманный, густой иней пара стоял на деревьях. Я ездил на станцию за почтой, потом, выехав со станции, уже в сумерки, перевалив с ее двора через сугроб на выезд в поле, решил свернуть к Заказу. Быстро темнело. Лошадь моя от инея вся посерела и закудрявилась, ресницы и усы у меня вскоре стали такими же. В поле сперва ничего нельзя было разглядеть даже в двух шагах — только серая, дикая мгла. Но вот в этой мгле стало светлеть и светлеть. Пробиваясь сквозь нее малиновым шаром, стал подниматься вдали большой месяц, пополам перерезанный длинной лиловой тучкой. Поднимаясь, он оставил эту тучку ниже себя, а сам становился все ярче, золотистой. Когда же я подъехал к Заказу, въехал в тень, далеко лежавшую от него по полю и испещренную узорами света, все уже блистало в полях и в Заказе как бы в некоем сказочном царстве. А потом дивной красной звездой засветился огонек в караулке и по всему чуткому, морозному лесу пошел звонкий, раз-

бегающийся по чащам лай Крутика.

У дубка перед караулкой я привязал лошадь. С дубка бенгальским огнем посыпался иней. Я постоял и послушал глубокую тишину леса, потом осторожно подошел к завалинке караулки и заглянул в полузамерзшее окно. И глухая, отшельническая жизнь старика снова поразила меня своей святой суровостью. В глубине слабо освещенной, дочерна закопченной избы он стоял перед дощечкой иконы в углу и, закрыв глаза, кланялся ей то до земли, то в пояс. Видно было, что он только что выкупался, — редкие волосы его были мокры и причесаны, подбородок чисто побрит, длинная белая рубаха распоясана. Порой он закидывал голову назад и долго, долго стоял так с закатившимися под лоб глазами...

Говорил он в тот вечер опять мало, был особенно тих и ласков. В избе было тепло и сыро, как в бане; я скинул шубу и сидел на лавке. А он тянулся, стоял передо мною, отвечал не спеша и все опускал веки. Наконец, уже собираясь уезжать, я как будто мимоходом спросил:

— Мелитон, отчего ты всегда такой скуч-

ный?

Он удивился.

— Я-с? — спросил он растерянно. — Я ничего-с... Известно, старость...

— Или горе у тебя какое? — сказал я, глядя ему в глаза.

— Избави Бог-с! — сказал он поспешно. — Я караюлю-с...

— Да нет, я не про то, — сказал я, смутившись. — Я так спросил...

Он понял, успокоился и нежно улыбнулся, прикрывая глаза.

— А я думал, обида какая-с, — сказал он. — А что я не веселый, так какое же мне теперь веселье? Да и грехов много-с.

— Какие же у тебя грехи, Мелитон!

— Грехи-с у всякого есть, — сказал он серьезно. — На то и живем-с, чтобы за грехи казаться.

— Да ты и то как святой живешь. Ты вон постишься целый век.

Он опять удивился и даже слегка нахмурился.

— Ем-с, как все, — сказал он скороговоркой. — Едят и хуже моего, да и то не гnevят

Бога жалобой.

— Ну, коли так, будь здоров, до свиданья, — сказал я, надевая шубу, поднимаясь и отворяя дверь на морозный воздух лунной ночи.

Морозило крепко, и Большая Медведица бриллиантами висела по небу над снежной поляной. Мелитон без шапки и в одной рубахе стоял на пороге.

— Прощай, Мелитон, — сказал я, садясь в сани. — Иди в избу, простудишься!

— Никак нет, — ответил он. — Счастливой дороги-с...

Лошадь в светлом поле бежала шибко и бодро, полозья пели и визжали, ветер обжигал лицо, сковывал усы, ресницы. Я отвертывался от него, прикрываясь пахучим на морозе еновым воротником.

1901

Комментарии

«Журнал для всех», СПб., 1901, № 7, июль, под заглавием «Скит». Название «Мелитон» дано в книге *«Начальная любовь»*. Печатается по тексту газеты «Последние новости», Париж, 1930, № 3392, 6 июля.

«Скит» — первое прозаическое произведение, опубликованное Буниным в «Журнале для всех», где он сотрудничал с 1899 г. Редактор журнала В. С. Миролубов, получив рассказ, писал 29 мая 1901 г.: «Спасибо, дорогой Иван Алексеевич, за „Скит“. Он мне очень понравился... В артистическую раму природы, когда Вы вставляете хоть одну фигуру, как в „Ските“, сама природа становится живее» (*ЦГАЛИ*). Бунин отвечал ему: «Рад, что „Скит“ Вам понравился... Кстати сказать про природу, которой, насколько я Вас понял, я чересчур предан: это немного неверно, я ведь о голубой и протокольно о природе не пишу. Я пишу или о красоте, то есть, значит, все равно, в чем бы она ни была, или же даю читателю, по мере сил, с природой часть своей души. Всякий пишет по-своему, и пусть Мамин пишет о

том-то, Горький о том-то, а я о своем. И разве часть моей души хуже какого-нибудь Ивана Петровича, которого я изображу? Это у нас еще старых вкусов много — все „случай“, „событие“ давай» (Литературный архив, вып. 5. М. — Л., 1960, с. 132).

Цензура не пропустила конец рассказа. Бунин в письме от начала июля 1901 г. спрашивал В. Миролубова: «...я... не нашел в „Ските“ трех последних строк. Кроме того, выкинуто слово „выпукло“» (про петуха) (там же, с. 139). В июле же 1901 г. Миролубов ответил: «Последние строки в „Ските“ почему-то выкинул цензор (был в то время ценз. Елагин), а слова „выпукло“ мне жаль больше Вашего, и ругался я из-за него отчаянно» (ЦГАЛИ).

Во всех последующих изданиях слово «выпукло» Бунин восстановил. Три последние строки рассказа не восстановлены и остались не известны, так как не сохранились ни рукописи, ни корректуры рассказа.

При каждом переиздании писатель редактировал и сокращал текст. Так, в *Полном собрании сочинений* после слов «по седой траве» шло:

«В тот же день я уехал на юг, а потом за границу и совсем не заметил, как прошла осень. Изредка только вспоминалась мне Россия. И тогда она казалась мне такой глухой, что в голову приходили Гостомысл, древляне, татарщина... Какая темная, сырая осень! Тучи низко идут над полями и грязными поселками, в туманном от мелкого дождя поле одиноко сидит грач на пашне, а на межах ветер качает бурьян. В голом редком лесу почернела от дождя стена караулки, перед порогом стоит лужа, полная гнилых листьев. В избе темно и сыро. А ночью бушует в лесу буря, а ночь длится чуть не двадцать часов... Какое нужно терпение, чтобы покорно пережить эту бесконечную осень!

Когда я вернулся в Россию, все было под снегом. Двое суток поезд мчал меня по снежным равнинам и лесам. В России был голод; но почти есь декабрь стояли хмурые дни, и густой иней нарастал под серым и низким небом на деревьях и телеграфных проволоках; это предвещало урожай. И первое, что сказал мне на станции наш кучер, было слово „иней“.

От инея посерели и стали кудрявыми шапки, бороды, лошади и тяжелая, холодная волчья полсть в санях. В сумерках сливались небо, воздух и глубокие снега, завалившие весь двор станции. Я сел в бегунки один, послал вперед троечные сани с вещами, приказал ехать веселее. Кучер, стоя в санях, перевалился через высокий сугроб на выезд в поле и шибко погнал по глубокой снежной дороге. Я отстал».

Примечания

Т. е. сшитой из грубого домотканого холста из конопляных волокон (*прим. верстальщика*).

[^^^]